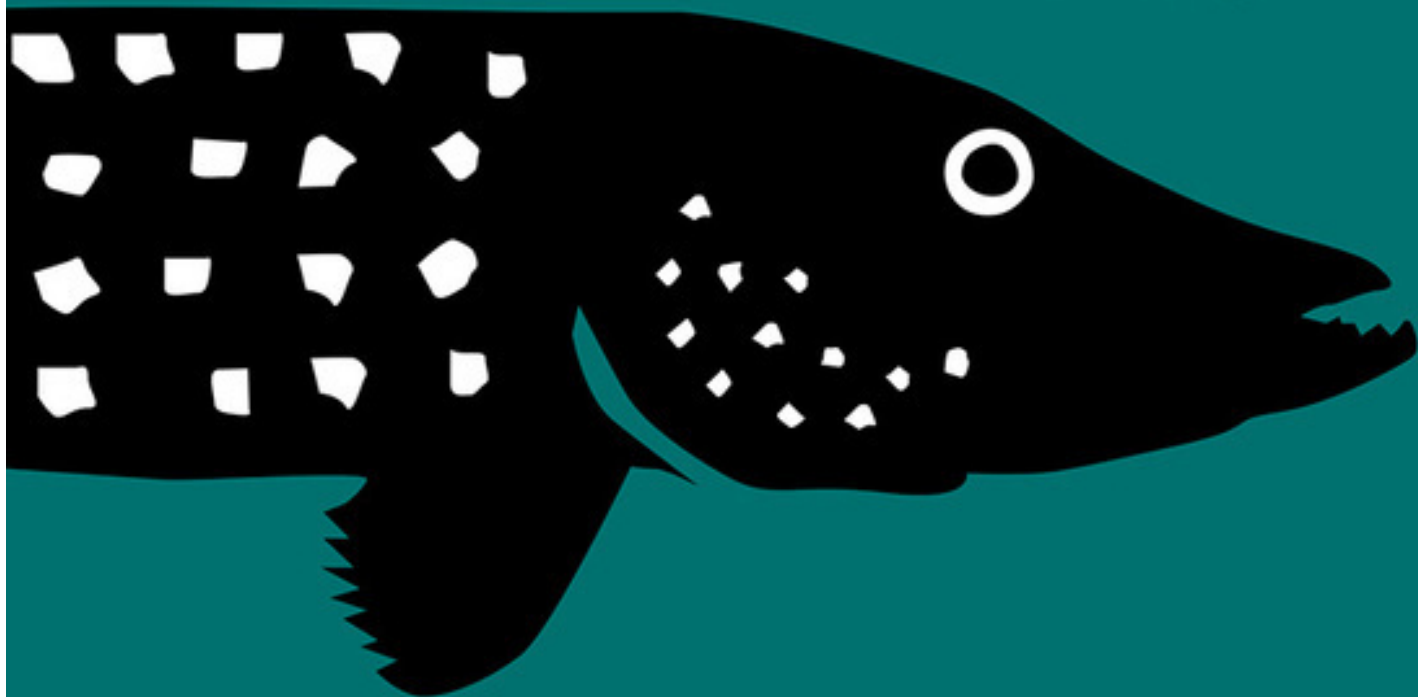


Василий
АКСЁНОВ

ОСПОЖИНКИ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Василий Аксенов

Оспожинки

«Издательство К.Тублина»

2011

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)6

Аксенов В. П.

Оспожинки / В. П. Аксенов — «Издательство К.Тублина», 2011

ISBN 978-5-8370-0792-7

Так сложилось, что в эту раннюю осень Иван Васильевич Войсковой приехал к матери в Сретенск, что под сибирской Яланью – то ли просто навестить родное гнездо, то ли отрешиться от городской суеты, то ли по иной причине. Разве поймешь сразу, когда и жаловаться на жизнь вроде не принято, а на вопрос «Как дела?» в ответ слышишь немногословное «Нормально». И вроде обычные деревенские заботы. И река Кемь та же. И Камень никуда не делся. Но что в таежной глуши может связать Сибирь и Сербию? Не только буква «с»... И почему Сретенск вдруг стал местом, в котором, будто по провидению Божьему, а в аксеновском мире по-другому и не бывает, произошла эта странная встреча?

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-8370-0792-7

© Аксенов В. П., 2011
© Издательство К.Тублина, 2011

Содержание

1	6
2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Василий П. Аксенов

Оспожинки

Издание выпущено при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

© В. Аксёнов, 2016

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2016

© А. Веселов, оформление, 2016

* * *

*Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа
ответ языка.
(Притч. 16, 1)*

1

Встаёт она рано. По привычке, обрётённой смолоду, – второй натуре.

Сова, жаворонок ли, здесь об этом рассуждать нелепо. Неуместно.

«Воля, неволя, – говорит, – такая наша доля». Да уж. Если ещё при императоре-то родилась, до Революции – старорежимная. И лет ей... к веку приближается.

Не за горами. Горько и радостно – одновременно. Понятно, почему радостно; понятно и другое – почему горько.

«Скоро уж в третий раз Христа переживу, – порой печалится. – Кто б мог подумать... Всех родных, и братьев, и сестёр, всех уже и сверстников моих прибрал Господь, меня всё держит почему-то, такую ветошь. Пальцем в грудь ткни сильнее, я и рассыплюсь... так истлела».

Молчишь в ответ. А что тут скажешь? Думаешь только, примеряешься. Но не постигнуть.

«Старуха у нас раньше в соседях, – продолжит, – в Ялане жила, Лепестинья. Фамилия у них была Шароглазовы. Всех их тоже после раскулачили, сослали, и никто из них оттуда не вернулся... Как увидит меня на улице, бывало, скажет: лоб у этой девчончишки, гагары, поварёнок и глаза, как у сороки, – жить долго, дескать, будет – вредная... Наворожила. Живи теперь, а как, кто научит?...»

Сколько бы ни было ей лет, какой бы ветхой ни была она, всё – мать; привычной, правда, сказать *мама*. Когда-то, в определённый час, или минуту, хоть и без моего осмысленного согласия, но, что уж точно-то, к великой радости моей последующей, состоялось, с того момента – неизменно. Как бесконечность. Или вечность. Что бы к ним – к той или к другой – ни присоединил, что бы от них – от той или от другой – ни отнял, всё как были. Чуть сложнее, может, – человеческое. Вечность и бесконечность боли не испытывают, полагаю, и на старость нашу немощную взирают они, скорее всего, без участия и сострадания, вовсе не видят ли её. Как мы – в потёмках, крот ли – на свету.

Небо над Сретенском – как только он возник, с тех пор – такая же константа. Пусть и с лица земли исчезнет, вымрет, пребудет в Замысле. Ялань ли та же.

Тихо деревни умирают. Раз деревянные, то – как деревья. Или как их насельники, крестьяне, привыкшие хоронить в землю семена в благой надежде, что взойдут. Бывает, мёртвые, безлюдные, уже сгорят, – подступит пал и слижет пламенем дома пустые безразлично, турист-бродяга ли от скуки подожжёт, чтобы развлечься. Сколько уже их вокруг, и совсем малых, дворов в десять-двадцать, и крупнее, дворов до сотни, то и более, на моей только памяти как ветром сдуло. Остались точками на местных старых картах. Да именами. Может – как ссылки в Божьем Интернете. В *поисковик* зайдёшь, кликнешь когда-нибудь, уже из вечности, и восстанутся, предстанут. Хотя бы только для тебя. Как наяву, по ним, вот и по Сретенску, пройдёшься, на предков глянешь. В это верю. Тут как про *мутное стекло*, думаю, так же.

«Залёживаться, – рассказывает мама, – нам особо-то не позволяли, разве по праздникам великим, с часок добавят, полчаса ли – нежься. Хоть и любили, но не баловали. Спать бы да спать ещё, тебя уж будят. Еды хватало, хлеба-то и молока, да с огорода всё, да мёд, да рыба, не раскулачили, не расказачили пока, не голодали, одна мечта была лишь – выспаться... Ну а в деревне как иначе?... Единолично-то все жили, и людям пенсию не выдавали, всё от трудов своих... Да и теперь... Забот вон сколько... не отбиться. С одной вроде, худо-бедно, управился, сбросил, другая на шею тебе, словно чирей, вскакивает, а то все разом... Как уж обрушатся, насядут – вези, крестьянская душа».

Оно и верно.

Пять утра – на время года и погоду невзирая, больна, здорова ли – и на ногах уже, хлопчет по хозяйству. Как мышка-норушка, тихая, и по жизни, сроду ни на кого, наверное, хоть

и с *карахтером*, не повышала голосу, почти беззвучно шороборится – стеснить кого-то, сон чужой боится потревожить; чей-то обычно, нынче – мой.

Вот и сегодня правилу не изменила. Слышу: на кровати сидя, одевается – они, кровать и мама, извещают. Кровать – скрипом, мама – хрипом и одышкой. В одно мгновение бы раньше, хотя бы десять лет ещё назад. Раз – и готово – за работу.

Суворов в юбке, называл маму мой покойный отец, а её муж, с которым они прожили более полувека вместе. Теперь это занятие, утреннее облачение и вечернее раздевание, долгое и утомительное. *Руки – крюки стали... как чужие*. Но:

«Сама пока ещё... без нянек».

Слава Богу.

«Смогла бы, – добавляет, – дак и сама до кладбища дошла бы... когда помру... ещё людей из-за меня тревожить».

Такие гордые мы.

Да уж.

Чем-то порой напоминает мне она боярню Морозову. Только что не раскольница, не старообрядка, а *никонианка*.

«Зимой, – шутит, – хорошо: спать укладываться, и не надо раздеваться. Насдеваешь на себя ещё чё можно... как в ямщину... штаны и кофты разные... натянешь – дак как бревно лежишь потом – и не согнуться. В одной рубахе-то замёрзнешь... Тут как на улице к утру, в избе-то... Стены трещат, медведь в них словно ломится... Дышишь – и пар идёт... За ночь-то так, на пустоплесье будто, выстынет».

Бывало. Кому рассказывать – не мне.

«Один раз за весь век, – при случае вспоминает, – отец ваш ещё живой был... ты тогда служил, однако... проспала до полсемова. На часы гляжу – глазам своим не верю. С койки-то меня смахнул кто будто, сдёрнул – как ошпаренная, соскочила. Небывалый же идь случай... Отецто, ладно, тот зимой и до семи, дел никаких нет еслив, в лес за дровами да за сеном-то когда не ехать, проваливаться мог, не беспокойный. Сосед наш, Владимир Фёдорыч, увидел меня после в магазине... он же у них за хлебом в магазин ходил всё, а не Ася, это уж нашего... за паперёсами бы даже не отправил... как и в больницу... подошёл ко мне и говорит: Ну, Василиса Маркеловна, – он почему-то величал меня Маркеловной всегда, а не Макеевной, – хотел уж было к вам бежать, не случилось ли чё, испугался. Дым не вьётся из трубы, света в окнах, вижу, нет, мол, ну а времени-то уже много... Смеюсь в ответ ему: да, дескать, так вот нынче получилось... Лень сморила».

Скажет так, добавит после обязательно: чё, мол, за сон напал на нас тогда такой беспамятный, глубокий, чё, мол, за напасть?

Отец, присутствуй он при этом разговоре, дал бы такое заключение:

«Напасть какая-то!.. Придумала. Да проспала всего, тебе и напасть. Просто не скажут, всё с запуками».

Будто и голос его слышу. Точку поставит будто – хмыкнет.

Отец. Теперь *отец*, при жизни звал его я папкой. Как-то бумажно. Теперь вот ёмко.

Не хватает.

Смеюсь, говорит. Только слово. Не могу вообразить её, маму, смеющейся, лишь – улыбающейся. Да и того же Владимира Фёдоровича Тыжного, соседа нашего, из-за тика, нажитого на каторжных работах, прозванного Дергачом, когда-то есаула Елисейского казачьего полка, отбывшего в своё время за это воинское звание пятнадцать лет в одном из заполярных лагерей, ныне покойного, не представить мне хохочущим. Раньше много было здесь таких – *степенных*. Из коренных, что называется, не из *залётных*.

Сначала коллективизация – ни малого, ни старого не разбирая, *цельми улицами переметнула* из нашего Сретенска в тундру, потом война великая – та мужиков изрядно поубавила –

из трёхсот домой вернулись только семьдесят, из них немалое число увечными, не говоря уж про точивший их *синдром послевоенный*, о котором тогда и знать не знали, ведать не ведали, и, выходит, что его, *синдрома*, никакого у них не было.

Теперь остатки вымирают, уступая место мерзости запустения. Здесь только, по всей России ли так? Когда нарастёт доброе? И нарастёт ли? Больно. Глушу грех отчаяния, как головную боль – таблеткой анальгина, повторяя за мамой: «На всё воля Божья, и на это», – сам же себе отцовским и перечу: Бог-то Бог, да сам, мол, будь не плох. А что изменишь?

В себе только – меру. Это других кроить да перекраивать – дело простое, себя – непросто.

Отца уже нет. Мать дряхлеет. Малая родина кончается. В Большой что творится, пока не понять. Печаль кости проела. И что вдруг, раз неизбежно?

Я ведь могу так рассуждать?.. Могу, конечно. Рассуждаю.

Ушла от нас безвозвратно русская крестьянская культура скромного, достойного, аристократического пребывания на этом свете. То же самое, что христианская. Как там у Варсонофия и Иоанна: «Пусть те, которые дают себе свободу в смехе, знают, что они впадают от сего в блуд». Или у Григория Паламы: «Неприличны христианам ни шутовство, ни смешливость, как ослабляющие напряжённость души...»

Из другой жизни. Не из нашей.

Или у аввы ли Исайи: «Не открывай уст своих для смеха отнюдь, потому что это есть безстрашие».

Отыщись смельчак или простак и скажи об этом сегодня публично, со всех экранов и из всех динамиков осмеют его дружно, найдут и доводы для этого.

У Александра Ельчанинова ли:

«Смех (не улыбка) духовно обессиливает человека».

Интересно.

И у Василия Великого: «Сидя, не клади одной ноги на другую: это знак невнимательности и души рассеянной...».

У нас в Сретенске так, *по-американски*, и теперь ещё не сидят. И громко, *в захохотки*, не смеются. И горлопаны есть, *грязноязыкие*, конечно, но эти редкость, исключение. «Такой уж корень, – говорят про них, – неисправимый». Или – «безстрашный». Такое семя.

И у Макария Великого как:

«Христианство есть пища и питье. И чем больше кто вкусит его, тем более возбуждается сладостью ум, делаясь неудержимым и ненасытимым, более и более требующим и вкушающим».

Скажи и это...

Говорю вот. Хоть и с оглядкой – малодушный. Окна на веранде не по-сибирски большие, во всю стену, или, как часто поминает осудительно их мама, обо всём свете, разделённые лишь по углу брусом-стояком и обращённые: одно к юго-востоку, другое к юго-западу, – как тёмно-синий бархат, ночь за ними, ельник чернеет – различаю. У мамы – утро.

«О всесвятый Николае...»

Молится.

Всех, наверное, перечислила, живых и усопших. От веку. Никого не пропустила. И ничего, быть может, даже камни – о тех печётся: молча, без дела столько полежи-ка – и изведёшься от тоски и скуки. Об облаках – о тех, быть может, тоже: носит их ветром, неприкаянных, у них хозяин властный – ветер.

Тугая стала на ухо – слова молитвы произносит громким шёпотом – под одеяло укрываюсь с головой, чтобы невольно не подслушать.

«...Честь, хвалу и прославление через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь».

Утихла.

Кровать чёрно-белым пикейным покрывалом застелила, покрывало расправила, подушку в розовой наволочке взбила, постель ею увенчала, накидкой тюлевой украсила подушку – заурядно. И видеть действие это мне не надо – слежу по памяти за ним, заочно сострадаю.

Помывшись под дюралевым рукомойником холодной, чуть ли не ледяной уже, наверное, водой, подалась, шаркая, чего сама, конечно, и не слышит, по стылым крашеным половицам вязаными тапками с пришитыми к ним дратвой кожаными подошвами на кухню растоплять печку. Вчера ещё, как только я приехал, меня блинами посулилась накормить. И от «давления, кто его придумал только», от иной ли, хронической или внезапной, хвори «помирать» будет, но обещание исполнит. Жалея, станешь отговаривать – обидится. Не отговаривал. Хоть и жалею. Ну и блины такие где ещё попробуешь?.. Глянешь сквозь этот блин на быющее в окно утреннее солнце – просвечивает, и кромки у него, у этого блина, как заря на хорошую погоду, золотятся. У жён блины получаются *женины*, иной раз тоже неплохие, но всё не *мамины*, а потому и сравнивать бессмысленно их.

Взобравшись кое-как на табуретку, выюшку выдвинула, на пол спустилась, опираясь рукой на ту же табуретку, перед плитой припала на колени, дрова в неё, стараясь не шуметь, заталкивает. Подложила, знаю, берестину. Чиркает, слышу. Пальцы, искажённые трудом тяжёлым и годами, непослушные – ломают спички. Долго зажечь не получается.

Справилась, поднялась. В русской печи, убрав заслонку, огонь стала разводить – дрова в неё ещё вчера были заряжены – чтобы просохли.

Она спать уже не хочет или, по её неизменному заверению, не может, а мне – самый сон. С вечера могу сидеть сколько угодно, сну ни в одном глазу, как говорится, а утром век не раздрать, будто кто склеит их отменным клеем. Ещё взялся вчера, как на беду, читать Андрея Кураева, диакона. «Беседа в семинарии». Интервью. Задаётся ему вопрос: «Вы молодой миссионер. Но, кроме молодёжи, ещё какую-то группу людей Вы выделяете как предмет особой миссионерской заботы?» Отец Андрей отвечает: «Да. Китайцев». К которым отойдут, и отец Андрей в этом почти не сомневается, сибирские земли, если не в этом столетии, так в следующем. И усни попробуй после этого. Мужественный, думаю, человек отец Андрей и, несомненно, любящий по-настоящему Россию. А любить по-настоящему Россию, это значит любить её меньше, чем Бога, но больше, чем себя, что и расставляет в человеческой душе всё по своим местам и должным образом. Но это в идеале. Нелегко, предполагаю, говорить об этом отцу Андрею – не как диакону Русской православной церкви, а как русскому человеку, – тяжело читать и рассуждать на эту тему и мне, потомуку казаков-первопроходцев и крестьян-колонизаторов, благодаря которым я имею родину – ту же вроде Россию, но выплеснувшуюся в Сибирь, в которой мне одинаково дороги как, к примеру, Приисленье или Приангарье, так и, допустим, Псковщина или Смоленщина. Да что поделывать. Историю творит Бог. Таков Его о нас Промысел. Не оправдали. Взять-то взяли, а удержать не в состоянии. Не оправдали мы, естественно, потомки. Предки – те сделали всё, что смогли, и сверх того: «И шли, государь, до Усть-Тазу голодом... и дорогою, государь, идучи нас голод изнял, и мы неволею души свои осквернили: собаки ели... С нузу горкие, не хотя умереть голодною смертию, ели по дороге присталых лошадей, постели, и обутки, и камось ели... И я, холоп твой, на твоей царской службе голод, стужу, и наготу, и великую нузу терпел и з голоду кобылятину ел».

Но в глубине души моей надежда всё же теплится, как бы и жить без этого, что будет нам дана ещё одна возможность – знаю: есть сердобольные, не *теплохладные*, люди в Сибири, которые со страхом Божиим молятся, чтобы не сбылось горькое пророчество, предположение отца Андрея, ни в этом столетии, ни в последующем. А там что будет...

По апостолу Любви. По его Книге.

Или напрасны были жертвы наших предков?

Пафоса в этом нет – я не актёр. Осмыслить хочется. Если для Бога нет ни эллина, ни иудея и, от себя добавлю, ни китайца, то и кем Он населит ту или другую территорию, тоже,

выходит, всё равно. Но так для Бога. А не для меня – грехи возвыситься не позволяют. Были ж пеласги в Греции, и где они теперь? Были и римляне...

Были и русские... когда-то кто-то скажет.

Есть и совсем *горячие* – готовы взяться за ружьё... или за вилы... «если совсем-то допекут, если вконец-то обнаглеют».

Боже, не доведи до бунта русского.

А назревает?

Китайцев пробую назвать сибиряками, да не выходит – язык не поворачивается. Китаец, он и в Африке китаец, что актуально. Или цыгане вон. Или евреи. Что тоже не менее злободневно. Тут без оценки. Как о погоде. Такими яркими Господь создал их: где бы, среди кого и сколько времени ни жили – не мутнеют.

А русский – русский он в России только? Бывает так, что и в России он – француз.

По крайней мере, я себя не представляю вне моей страны. Перемещусь мысленно, умом побуду на чужбине, и назад тут же – чтобы не потеряться там, не сгинуть ли совсем. Лишь за себя и отвечаю, другим не указ.

Несколько лет назад, приезжая сюда, на свою родину, наблюдал я такую сцену: идёт наш, *раскрутившийся* по совету первого президента *свободной* России *челнок*, бывший врач или учитель, за ним два задрипанных по виду китайца огромные сумки волочат. Теперь картина иная: идёт важный, хорошо одетый гость (или уже хозяин) из Поднебесной, за ним два наших, разорившихся и спившихся уже *камирсанта* несут баулы.

Раньше поля вдоль дороги от Исленьска к Елисейску были засеяны рожью или засажены картофелем, теперь – луком, не нашим, разумеется, а китайским. В земле после этого, говорят, сокрушаясь, местные жители, ничего потом не родится. А тут ещё наш бодренький ясноглазый губернатор, человек *пришлый*, по собственной инициативе, по повелению ли свыше, объявил Елисейский район неперспективным, нерентабельным. Раньше был и перспективным, и рентабельным – люди здесь жили и небедно, и никуда отсюда не хотели уезжать, а прибывали только, без всякой демографической политики множились. Теперь – нет. Лет за сорок до этого неперспективными объявили многие русские деревни – и где они теперь? На месте их пожары полыхают – удобряют землю для новых поселенцев, у которых она станет и рентабельной, и перспективной.

Может, и следует поглядывать на это отстранённо, как бы сверху, не принимая близко к сердцу? Может быть. Но у меня не получается, не дорастаю, не дотягиваюсь. Маловер – поэтому, конечно. Уже и подлю малодушничая: возможно, лучше было бы для нас, чтобы у власти оставались коммунисты?..

Да богоборцы ведь. Как совместить-то? Придётся, может.

Но и у тех, интернационалистов, свой был глобализм – сколько вон территорий раздали щедро. Из своего кармана будто, из своей мощны.

Одной свиньи мясо, как говорит мама.

А где Иван-то Калита? В каком он веке? Затерялся.

Это, наверное, важно и не безразлично для тебя, когда ты гражданин, а когда ты просто потребитель, не всё ли равно?

Так я это, рассуждаю.

На веранде, хоть и зимней, с открытой в зал дверью, прохладно: дышу – отпыхивается. Стекло оконное – вверх чистое, незримое, внизу в запотени – застит. Есть желание – из детства будто выплывает – лбом к нему, к стеклу, или ладонью прикоснуться. После исполню. Но пока:

Не хочется выбираться из тёплой постели. Всё же поднялся. В чём есть, в одних трусах, пошёл на улицу.

Мама на кухне, не видит меня. И уж тем более не слышит.

Небо в звёздах – как обшито, как в заклёпках ли – оковано. В засмиревшем без ветра и терпко пахнушем дымокурами воздухе, отражая свет уличных *дневного света* фонарей, искрится изморозь. Мурава в инее. Месяц на нём играет блёстками – словно ребёнок. Но так и есть – недавно родился – всё и в диковину ему поэтому. Висит, как в зыбке, остророгий.

На скрип двери кошки сбежались. Взметнув штандартами хвосты, блестя глазами, крутятся поблизости и молча, но об ноги мне, как маме, не трутся – не те у меня с ними отношения. Разного возраста и разной масти. У мамы их, на нынешний момент, десять. Примерно – десять. Я их не считал. А мама – та *со счёту уже сбилась*. Живут в подсобке. Чем может, тем их и кормит. «Они меня когда-нибудь съедят, – говорит. – Расплодились. Ваня, убей хоть несколько». Отказываюсь. «Ты не давай им жрать, – говорю, – они и сами от тебя уйдут». – «Да куда они уйдут... Ещё к зиме-то... Одолеют. И никакого мору на них нет, – вздыхает. – Путную скотину, – говорит, – попробуй вырасти, а эти... чертополох так не плодится».

Возвращаюсь в дом.

Мама уже в прихожей. Видит меня.

– Во-о, – говорит. – Думала, спит... Боялась звякнуть... Ложись, поспи, такая рань ещё вон, – сказав, кивает на окно.

– Да, – говорю, – уже выпался.

– Голый-то выскакиваешь – простудишься.

– Не простужусь, – мотаю головой.

– Да долго ли... он не простудится... с тепла-то, из-под одеяла, тут же проберёт, махом...

Ложись, поспи.

– Выпался! – говорю громче.

– Кого там, выпался... Читал всю ночь...

Огонь горел, вставала, видела.

– Ну, ещё часик, ладно, поваляюсь. Ты разбуди меня!

– Разбужу, разбужу, – говорит. – Совсем глухая уже стала... Вижу, что говорят, а чё – не разберу... Доить пойду и разбужу... Я подоить-то – подою, встать со скамеечки поможешь да после в избу унесёшь подойник с молоком... Безо всего-то, налегке, я доплетусь уж... Блины, даст Бог, готовы будут, с парным поешь... Поспи, поспи. Когда ещё и выспаться, как тока в отпуске и дома... В избе-то холодно – плитку вон затопила. От той, от русской-то, когда ещё нагреется. Блины... какие уж получатся... Мука всё нынче никудышная. В неё чё, может, добавляют... кроме муки-то?

– Может, – говорю.

– Чё? – спрашивает.

– Может, и добавляют! – повторяю. – А что, не знаю.

– Время такое... как при Ироде... Иди, поспи.

– Посплю, посплю.

– Поспи, родимый.

Пошёл к себе на веранду. Лёг в неостывшую ещё постель. Уснул.

Из далёкого-далёкого, но моего (личного) прошлого приснилось что-то мне. Сюжет не вспомнить, помню ощущение – давно такого не испытывал:

Внутри – спокойно, внешне – лучезарно.

Но ненадолго – пока недавнее не всплыло, не коснулось...

Не об этом.

2

Пробудился я с чувством невятной тревоги: Как ветерком напористым и налетевшим вдруг обдуло бы лицо, так вот обдало ею сердце – у сердца уши есть, и весть дошла до них какая-то – ум мой пока не опознал.

Тихо в доме. Тихо необычно.

За окном поблекло – начало светать.

Что день начался, думая об этом мельком и неотступно думая о том, что не отсутствие – при тишине такой, – а чьё-то присутствие, и в необычном состоянии при этом, способно так насторожить, вылез я, покрывшись сразу *пупырышками* от холода, из-под тяжёлого ватного одеяла, в штаны и свитер торопливо облачился, заправил наскоро постель, покинул стылую веранду, в ярко освещённую многоваттной электрической лампочкой прогретую уже от двух печей прихожую вступил. И – шурясь после полумрака – вижу:

Сидит мама бездвижно – словно замерла она временно перед фотографом или художником-портретистом, после утраты ли невосполнимой – на стуле около входной двери, понуро под ноги себе глядит; и не моргает. Руки крест-накрест на коленях сложены. Жилы на них набрякли выпукло – как реки взбухли подо льдом и скоро вскроются, готовы расковаться. Тёмно-синяя суконная юбка, в которой обычно управляется, и опоясанная, вместо ремешка, тонкой пеньковой верёвкой, которой она иногда привязывает, *чтобы, как баба пьяная, не танцевала*, когда доит её, к столбу корову, и серая стёганая телогрейка на ней по левому боку густо испачканы в коровьем выкиде. В толстом коричневом платке, повязанном по-русски, из-под которого выбилась седая прядь – не дрогнет та, не шелохнётся.

Было бы всё нормально, в сенях бы разулась, в дом бы обутой не зашла, сейчас – в калошах.

Около стула на полу стоит пустой цинковый подойник, изнутри белый от молочной пены, снаружи тоже разрисованный навозом.

Плачет она, мама, насухо – лишь подбородком – смялся тот, как яблоко мочёное.

Хмуро молчит. Глаз на меня не поднимает.

А у меня душа зашлась – дышать мне стало трудно, – будто весь воздух разом, как из шарика резинового, насосом выкачали из избы, стены её пока ещё не слиплись только. И всегда со мной так, внутри у меня такое начинает вытворяться, когда я духом обмираю, малодушничая. Когда плачет рядом кто-то – цепенею. Как малахольный. И слова в моей, будто совсем не приспособленной для подобных случаев, голове тут же не в очередь, как бы им следовало, спешат выстроиться, а в кучу-малу, как пчёлы в рой, сбиваются – ну и найди в ней, в куче этой, после нужное. Какое первым ухватил, в ход и пускаешь.

– Что такое? – догадываюсь, что произошло, но спрашиваю: – Почему меня не разбудила?!

Расслышала, догадалась ли, о чём спрашиваю, отвечает, оставаясь взором на полу, или где ниже:

– Глянула – спишь... Устал с дороги... Пожалела. – Пожалела!..

– Думала, справлюсь.

– Справлюсь!

– Первый раз бы... А когда одна-то... Кто мне тут...

– Мама, ты вечно... Как, не знаю...

– Нет помощников, сама всё...

– Кто-то тебя как будто заставляет.

– Вот, – говорит, локтём указывая на подойник, – весь удой, и нечего процеживать – меньше хлопот зато... Кое-как, – продолжает, – подоила... Не стоит же – издевается, холера...

Тока приноровлюсь, под ней пристроюсь, а она возьмёт, нарочно переступит. Мне за ней вслед надо пересаживаться... Это пока я... как коряга... встану да сяду – век минует...

– Сама себе командир.

Не слышит.

– Не уговоришь, – говорю. – Упрямая.

– Закончила, – говорит, – с горем пополам. Хотя и дойки у неё, одно счастье, мягкие, не то что у матери её были... Марту-то помнишь?.. Ни в какое с той сравнение. Зима и лето. У той-то так их не подёргал бы, не потянул... как деревянные... кожу с ладошек бы содрал. У этой – ладно... Поднялась кое-как, направилась... Лага настила – во дворе, а не в ограде, – вывернула её – ещё вчера, ночью уже бродила ли – своим копытом... краем торчит, бреду – не вижу... После, позавтракаешь как, отдохнёшь, сходи, будь добр, поправь её да закрепи там, чтобы не возвышалась, не высовывалась. А то и ей, корове-то, ходить неловко, да и бычишко ногу бы не повредил... Споткнулась об неё, об эту лагу, будь она неладна, и со всего маху полетела... Встала едва. Лежала, как бремено... Как-то ещё не захлестнулась насмерть... Наказанье... А и за чё?.. За чё, за чё. Есть, значит, за чё. Ещё и спрашиваю... Меньше бы надо выражать. Развыбразалась... Вроде как путняя. А дунь сильнее на меня – и улечусь.

– Мама.

– Чё-то и мним всё из себя. А чё мы стоим?..

Прах, он прахом и останется... Собран пока вот, а потом развеется, и тока... Как уж смириться, шею-то пригнуть?.. Не гнётся... Ну, ничё, – говорит, – с вечёрошным блины поешь, оно не скисло, не успело, на ём и сливки настоялись...

– Я же люблю холодное, а не парное!

– Знаю. Но и парное надо пить – полезно... Ещё не стряпала... Это мне чё бы раньше – подоить?.. Минута б дела... И куда чё, – говорит, – в человеке девается?.. Трава травой, но той-то хоть не мучиться... И высыхает, как карамора, и на чуму становишься похож... Вся вон в гомне, как где валялась специально... Снимать всё надо да замачивать. Ну, как-нибудь, – говорит, – время выберем, пока ты дома-то, и постирам. Я подмогу, ты полоскать на речку тока сбегашь... Не выпускала её – рано... Потом пойдёшь ворота ей, противной, отворишь. Бродниковы своих, – говорит, – корову с нетелью, с которыми она пасётся вместе, поздно выгоняют... в половине. Одну её сейчас выпусти – всю деревню наскрозь проорёт – искать тех будет.

– Мама!

– Совсем бы, вредную, не выпускала, пусть посидела бы неделю взаперте, а то и две, тогда бы, может, чуть одумалась, то обнаглела... Не Чернуша, а гомнюша... И без коровы никуда.

– Мама, какая уж тебе корова?! Давай, – говорю, – сдадим... Васька приедет, и решим, куда и как...

– Сдавайте, – говорит, глядя всё так же себе под ноги. – Раз за меня-то, соберётесь, всё решите... Вы её поведёте сдавать, а я за вами следом поползу. Обеих сдайте. Ту-то – на мясо хошь, ну а меня – на костную муку... ещё сгожусь ли?

– Может, кто купит?.. Чтобы не сдавать. – Кто её купит...

– Кто вдруг подвернётся.

– Вдруг – не друг, на вдруг надейся... Старые, – говорит, – держать уже не могут, освобождаются от скота. И денег нет у них таких, чтобы купить. Какие есть, на похороны себе копят. А молодым – нужна она, корова эта, шибко... Всё отдыхать теперь привыкли, развлекаться. А с ней, с коровой-то, не отдохнёшь, перед телевизором шибко не посидишь, праздников у скотины не бывает – рано вставай, корми, пои, и ежедневно. Сам – ладно, а её, скотину, голодом не оставишь... И как сдавать – она ведь стельная.

– Так и всегда она, – я пуще распаляюсь, – будет то стельная, то на сносях!..

– Нет, не всегда... И мне недолго уж осталось.

– Опять ты, мама!..

– Вот тебе и мама. Знаю, что мама, много лет уже мама... Я здесь одна-то одинёшенька, как перст в напёрстке. Соседи были бы, то – никого... Людей уж нет, так хоть корова... живое всё же... с ней поговоришь. Кто одиночество такое может вынести?.. Кому по силам?.. Пока-то – ладно, а зимой?.. Ночь – год. А сна-то нет когда, как коротать?.. Вы и бываете, но лишь наездами. За то спасибо, не виню вас... Вон у других – и дети есть, а толку-то – за столько лет ни разу не приехали, не навестили... Жить же не станете со мной тут постоянно... И свои у всех семьи – не бросите. К кому из вас – я не поеду. Тут – как ни плохо и ни тяжело, но я сама себе хозяйка... Больно нужны кому свекровки, тёшши престарелые... Такая доля уж моя, ничё не сделаешь... Надо уж как-то доживать... терпеть, сносить, живым в могилу не полезешь.

Мечусь рядом, бросаюсь от стены к стене, пол подо мной будто горит, давлюсь застрявшим в горле комом, задыхаюсь, но не от метаний по прихожей, а от захлестнувшей меня жалости к матери и от недовольства и раздражения на самого себя, взрослого, здорового мужика: вместо того чтобы утешить, давать советы начинаю. Жалость – плохой советник, никудышный – давно известно, принято к сведению, но не к исполнению, а потому и навыка-то нет, а лишь душевная убогость.

– Пойду! – сказал.

Мама молчит.

Куртку накинул, вылетел из дому.

И из ограды. Стал возле ворот.

Дышу – вытравливаю из себя гневливость. Не на кого-то в гневе – на себя.

Через муравчатую дорогу, напротив, кособочится, словно в поклоне перед не взошедшим ещё солнцем, по крайней мере, в ту, северо-восточную, сторону, откуда солнце ожидается, побуревший от времени дом лиственничный. Пятистенок. С провалившейся уже тесовой четырёхскатной крышей и с выбитыми напрочь в окнах стёклами – бледнеет изнутри через чёрные проёмы стенами с почти осыпавшейся с них извёсткой. Слева и справа от нашего – тоже пустые. От некоторых, как в дёснах от вырванных зубов, уже остались только ямы от подпольев. До первой жилой избы, по всему радиусу, надо пройти двумя обезлюдевшими улицами, и в той избе живёт старуха-бобылка. Ни маме до неё не добраться, ни ей до мамы, зимой и вовсе, чтоб проведать, хоть и младше она, тётка Евдокия, мамы лет на десять – ногу отрезали ей год назад, – куда идти, *с кровати уж не слазит*. Мама так говорит: «Топ-топ – костяная нога, топ-топ – деревянная... С Дусей-то мы уже и не увидимся, наверно... тока уж там, на том-то свете, может, еслив глаза Господь нам не застит, грехами нашими их не замажет».

Инею прибавилось – он как кораллами на всём разросся, всё опушил. Воздух чистый – деревенский. Небо тусклое ещё, но ясное. Туман в низинах – сплюснулся оладьями. Ориентируясь по Ислени, с севера на юг, оставив после себя сизо-розовую, как обёрточная лента, полосу, пролетел недавно самолёт. В Исленьск из Норильска. Больше неоткуда. Разве что с полюса полярного. Но что в Исленьск-то – это точно. Если, конечно, не от полюса до полюса, Исленьск минуя.

Дрозды шумят безгласно в нашем палисаднике. Иргу, никем раньше здесь не виданную, которую привёз откуда-то и посадил тут Василий, да черёмуху, местную жительницу, ёрзая в её густых ветвесплетениях, от ягод зачищают. С иргой уже почти управились, черёмуху добирают. От них, дроздов, спасения не стало. Прежде они в лесу всё больше обитали. Теперь деревня – дом родной их. Оголтелые. Мама их дристунами называет. Заслужили.

Сорока стрекочет. На весь околоток. Сердится на кого-то. На ястреба, наверное, которого боится. Кто у неё что, может, утащил, украл припрятанное ею – на того ли.

Кричит где-то у нас на задворках ворона. Так, будто ей перья выдирают из хвоста.

Кошек не видно – не получив привычно молока парного от мамы, подались, несчастные, на промысел. Удачи им.

Пошёл во двор. Бревно, за которое запнулась мама, стал поправлять.

В углу двора стоит Чернуша, внимательно и настороженно на меня смотрит.

– У! – ей с укором говорю. – Зачем, гомнюша, над хозяйкой издеваешься? Не стыдно?

Выпустив из ноздрей, как из орудий, в меня две струи густого пара, вздохнула тяжело, но не отвечает.

Я ей опять:

– По-русски тебя спрашиваю.

Молчит, по-русски отвечать не хочет. Василий, мой старший брат, корову может подоить, и делает это, когда приезжает из Елисейска, где сейчас живёт, *проворней иной бабы*. А я так и не научился. Отец наш тоже *не касался*: мол, не мужское это дело.

Меня с Василием не путает Чернуша, различает. Тот бы ей хлеба корочку принёс и, как с подружкой, словом ласковым бы с ней обмолвился. Как на меня, с опаской на него она бы не глядела. А вот у нас с ней, с *кормилицей*, контры, как выражается мама. Корова знает, кто как к ней относится, мол, чувствует. Как отношусь я к ней? Нормально. Дружбы с ней, правда, не вожу.

«Она, скотина бессловесная, не рассуждат, как мы, но всё при этом понимает – злого от доброго-то отличит», – говорит мама.

Возможно.

С кроткой, как у байкальской нерпы, мордой, палевый, мастью не в мать свою, а в прохожего быка-молодца, уже большенький телёнок, сын Чернуши, чёрной, как медведь, с белой звездой только на лбу, в другом углу двора хоронится. Жуёт лениво сено прошлогоднее; тоже косится в мою сторону – на всякий случай. Мать, Чернуша, *обижат, бодат яво неишиадно* – к ней он поэтому старается не приближаться, держит дистанцию, чтобы ей под рога не подвернуться. Красивые те у Чернуши, как у Небесной Коровы Нут – такой же формы, величавы.

Хоть на людей, не приведи Господь, их не нацеливат, и ладно, то было б горя.

Бревно на место, как просила мама, вставил, двумя железными, *санными*, скобами его среди других в настиле закрепил. После попрыгал по нему – проверил прочность. Ну, до зимы продержится, надеюсь, а там, морозами-то, так скуёт, что его трактором не выдерешь. А до весны?.. Ну, до весны ещё дожить бы.

Из стаек у коровы и у бычка стал выкидывать – поднакопилось: у мамы сил на это не хватает, ну а Василий не был тут уже неделю – *не занимался*.

Таскаю. Вилами. Рожок у них стараюсь не сломать. Дед мой по отцу, думаю, Павел Григорьевич Войсковой, потерявший во время Первой *Ерманской*, в сражениях которой участвовал в составе Елисейского казачьего полка в чине подъесаула, от газовой атаки австрийков, *будь оне, безъязыкие, неладны*, все до единого зуба, *как бытто семючки, их изо рта-то после выплюнул*, помню которого хорошо, и в преклонные годы ещё бравого, если бы вздумал вдруг он, Павел Григорьевич, устно кому-то описать чью-то корову, сказал бы так: не масть, а щерь – таким бы он воспользовался словом.

Я напишу так, где-нибудь скажу ли, и надо мною посмеются.

Сладил дело, управился. В стайках убыло, а на пригоне прибыло – гора уж высится изрядная, зимой хоть на лыжах, было бы кому, с неё кататься; в конце апреля, в начале ли мая, как поведёт себя весна, выдастся затяжная или ранняя, перед пахотой всю эту гору надо будет разбросать по огороду – *удобрение, натуральное. Органика*.

Навоз.

Открыв ворота на пригоне, Чернушу выпустил на улицу. И выгонять её не надо – сама Чернуша побежала, едва меня не сбила с ног. Бычок, с пучком сена во рту, выждав какое-то время, следом за ней, за матерью, подался. Не торопясь, не догоняя.

«Идёт бычок, качается... Сейчас я упаду». Чужие будто – меж собой-то.

У нас, людей, бывает хуже. Друг друга *поедом едим*.

В огород пошёл.

Стою. Плантация. Оглядываю, как хозяин. Капуста. Белокочанная. Вилки пузатые – *как на девятом будто месяце* – глаз, их обкатывая, веселится. Вырывать лук надо будет – пора, думаю. Как-нибудь, выбрав время, пока здесь, вырву. Мама, устроившись возле гряды на перевернутом ведре, обрежет, в старые чулки или в детские, оставшиеся после отгостивших лето внучат, колготки его после упакует. В этом нельзя ей отказать – обидится: сама смогу, мол, ещё в силах. Ни дня без дела, как у некоторых *ни дня без строчки*. Луком набитые чулки или колготки повешу я уже – за печью, где тепло и сухо, где маме *луковку зимой достать будет сподручно, а на полати каждый раз за ней не лазить*. Чеснок – потерпит, *посидит*. Свёкла, брюква, редька и морковь – и те ещё погодят, в земле не затоскуют. Что не успею сделать я, с тем уж Василий как-нибудь управится – *уж, поди, вырвется, поможет*.

И я надеюсь.

Увяла, вижу, картофельная ботва, почернела – в межрядья полегла. От помхи – отец бы так предположил. Во всех случившихся неурожаях виновной у него всегда была таинственная помха. Если не засуха невероятная или не беспрестанные дожди. А самым действенным средством от всех человеческих болезней была у него водка, с размешанными в ней солью-каменкой и молотым чёрным перцем, – что *внутрь*. И *карасин* – а этот уж наружно; но горло можно было им пополоскать, когда ангина. Так, помню, скажет: «Помогат». Отпомогало. Горько без отца. Он и не *хварывал*, отец-то. Хоть и не часто *потреблял, тока по праздникам*. Да когда гость какой приедет.

Скорей – от заморозков, чем – от *помхи*. От них, от утренников крепких, и не только ботва, но и крапива за огородом пожухла. Листья у пучек. Вязель пока ещё вон держится – зелёный. Да и отава. Ну а так:

Белым-бело вокруг – всё в инее. Солнце взойдёт – и всё порозовеет; а то и так – как золотом покроется.

Когда он, отец, умер, когда его похоронили, совсем его не стало, абсолютно, как мне тогда казалось, а спустя какое-то время – начал он каким-то странным образом присутствовать – вернулся.

Вот и сейчас – как будто рядом. И первый признак этого – слеза горячая глаз остро принимается точить.

Скоро и за картошку надо будет приниматься, начинать копать. Через неделю-полторы. Затягивать не стоит, а то и снегом всю завалит – тот себя долго ждать не заставляет, чуть дунет с севера, он тут. За ночь всё может измениться: вечером лето, а утром – зима; снег может выпасть и уже не стоять. Много *садим*, по приказу мамы, – поле, в футбол на нём только играть – просто. Не переживёт она, мама, если клочок земли не занятый останется, до следующего года от этого *настроение* у неё будет испорчено – вот и приходится повиноваться. Копаю я. Дней шесть-то точно, с утра до вечера из огорода не вылажу, спину потом не разогнуть. Василий приезжает помогать, но лишь на выходные – того *жана не шибко отпускает*. Сам-то бы рад, мол, я и верю. Но он, Василий, не лентяй.

«Поддался бабе вот, и чё за мужики?.. Стельки из них тока и делать... Стрепалась – выбросил, забыл... Не правда, чё ли?»

Не знаю, мама, может быть, и правда. Захватив с собой из-под навеса дров беремья, вернулся в дом. Дрова сгрузил в подпечек.

Сидит мама возле печи на табуретке, с ухватом в руках. Залезает им то и дело в печь, угли шевелит да сковороду двигает, чтобы в ней блин ровнее пропекался. Переодетая: в нарядном, *праздничном* – в честь воскресенья. Светлый платок на голове. От жара щёки побурели, была б не смуглая, то поалели бы. Скоро сто лет – ну это ли не радость. Таким вот образом нас балует Господь – меня, Василия, Наталью, Павла, Виктора, Полину, Клавдию, Петра. Кроме Василия, все далеко живём – *как птицы, гнёздышко покинув, разлетелись*. Я, самый младший, тут, *поблизосте* – в Исленьске. Четыре сотни вёрст в Сибири – рядом.

Помылся, вытерся. Направился к столу. Молчим.

Сел я за стол, и только после:

– Блины в тарелке, на столе, – заглядывая в печь, говорит мама. Голос обиженный, мне не заметить ли. – Пробуй, – говорит. – Пока не остыли. Теста немного в чашке вот осталось... хоть и пристала, уж достряпаю.

Поел с мёдом, *кипрейным*, которым угостил маму её племянник из Ялани, пчеловод, и с молоком. Из-за стола встал.

– Он уж наелся... Чё так мало?

– Хватит, – говорю. – С утра много не могу... – Вкусные? – спрашивает.

– Как всегда, – отвечаю. – Вкусные. Спасибо.

– На здоровье.

Разговор не клеится, как будто вынужденный.

Хоть и не так. И друг на друга не глядим, словно отсутствуем. Не так и это.

По избе побродил, в окна поглядел во все стороны света – обзор отличный: домов-то мало где осталось – не заслоняют горизонт. Человек, подлец, ко всему, вспомнил, привыкает, вот и к разору тоже, думаю. Но как ему тут и препятствовать? Он повсеместен. Не замечать?.. Смириться?.. И смиряюсь, пусть и даётся это нелегко.

Телевизор включил и тут же выключил его – одно и то же, то да потому – про *голу попу*.

Завернул на кухню. Стал. Стою. С собой, как с вражиной, воюю.

– Извини, мама, – едва выдавил.

– А?

– Ты, – повторяю громче, – прости меня!

– За чё? – спрашивает.

– Ну, покричал я, посоветовал...

– Ладно. И ты меня прости... С кем не бывает, – говорит. – Оба погорячились одинаково.

С души моей как камень будто сняли, не подлететь бы к потолку – так уж облегчило – как будто в дымку превратился. И впредь зарёкся... сразу зная, что обязательно сорвусь: вспыльчивость впереди меня бежит, не пропускает, как обогнать её я ни пытаюсь. А после каюсь. Ну, хоть после.

– На Кемь схожу.

– Сходи, – говорит мама. – Соскучился... Так, – спрашивает, – или порыбачить?

– Да прогуляюсь, – говорю.

– Ну, прогуляйся, прогуляйся... Ты там бревно поправь сначала... во дворе-то... лагу.

– Да я поправил.

– А?

– Поправил!

– Когда успел... И хорошо... То ведь и ей ходить, корове-то, неловко. Вернёшься скоро?

– Скоро.

– Знаю твоё скоро... Долго-то не гуляй... К обеду будь.

– До яра только и обратно.

– Я, может, суп какой придумаю. Постный хотя бы... мяса нет. Да и какое мясо – пост Успенский... Оденься тепле.

– Хорошо.

– Продует, ветер-то подымится... Тихо пока, после как будет, не известно... Простыть недолго... Шшуку поймай... Шарбу хоть сварим. Как ты уехал прошлый раз, так свежей рыбы и не пробовала... Не только свежей – никакой. Васька не ловит – не рыба. Да и когда ему – на два-то дома... то тут, то там... уж замотался... Да и мадам его ещё там... как поперечная пила... так и распилит, в гроб загонит... беречь же надо мужика. Скоро отъездите, умру-то.

– Она, – говорю, – шука, не привязана.

– Знамо дело, – говорит мама. Улыбается. – Но ты фартовый.

– Вечером, может... лучше будет братья.

– Тебе видней... А я достряпаю да лягу... пока ты ходишь... полежу маленько. То голова уже не дюжит... как с табуретки бы, сию, не завалиться – клонит... Тут уж хоть близко... если шлёпнусь.

– Ты уж держись.

– Закружится-то голова... Ты на машине?

– Нет, пешком.

– Корову выпусти, орёт вон... Друзья её, товарищи, уже гуляют.

– Я её выпустил.

– И ладно. А где орёт она?

– Не слышу.

– Ну, значит, чудится... Ступай.

Куртку накинул я, избу покинул.

Вышел на улицу. Стою.

Солнце проворно вынырнуло из-за Камня. Как будто еле дождалось: скорей бы Сретенск, мол, увидеть! – теперь вот видит; кто-то его, схватив, держал ли крепко там, за Камнем, – едва-едва, но всё же вырвалось, – его удержишь. Резво от гребня отделилось – чтобы за листовенницу вдруг не зацепиться – разве не так, кто может это опровергнуть? – похоже очень, значит так. Сквозь негустой туман, с Кеми поднявшийся над Камнем, пробивается. И не зарделось от тумана, жёлтое – на ведро. Озолотило всё – будто осыпало, облило ли поталью – иней на всём так сразу заискрился – даже на изгородях и на крышах. И на капоте моей красной «нивы». Пока не тает. А там, где тени, иней синий – в нём взглядом вязнешь, как в дали.

Стало ещё как будто холодней. Что и обычно – на восходе. Застегнул куртку наглухо, поднял воротник, руки в карманы куртки спрятал – вроде и не *мерзляк*, с тепла-то зябну.

Топчусь – похрустывает под ногами смачно. И не один я, вижу, к этому прислушиваюсь. В перспективе, в конце почти бездомной уже улицы, на фоне белого, ярко освещённого солнцем остова бывшей церкви, стоит боком ко мне гнедая лошадь – повернула морду в мою сторону: привет, мол.

Здорово, дескать, – ей кивком ответил.

После Исленьска-то – не надышаться. Глотаю будто, не дышу. Ем ли, как яблоко, кусаю.

Избороздил скот заиндевелые поляны. В лес убрёл уже – нигде его не видно. Овода и комаров нет, теперь в лесу ему вольготно. И ночевать там даже, есть такие *блудни*, остаются – ходи, ищи их. Доводилось.

И тут, около дома, сбив с муравы хрупкий, как хрусталь, куржак, птицы и кошки исходили. *Лапопись*. Так когда-то про моё чистописание говорила первая моя школьная учительница, добрейшей души и большого педагогического умения женщина, Катерина Васильевна Анкудинова. Младше моей матери, но не намного. И ей уже за девяносто. Жила она в Ялани, перебралась недавно в Елисейск – *поближе к сыну*. Съездить, проведать её надо будет. «Ну, Ваня, лапопись какая-то, начиркал тоже... Курица лапой лучше бы нарисовала. Ты уж старайся». Я старался. И до сих пор: что напишу, и самому потом не разобраться. Компьютер есть – печатаю теперь – другое дело, буква к букве. Маме уж письма перестал писать, звоню обычно. «Письма-то слал, дак лучше было, – так говорит. – В любой момент – открыл его, поплакал... А разговор-то – был, и нету... Да и – глухой-то, – всё ли разберу... Ты хоть звони, родной, почаще». И тут стараюсь. Есть помеха – не заедала б суета.

Солнце поднимется чуть выше – всю эту *лапопись* смахнёт. Завтра с утра, если погода не изменится и морок, ночь сделав тёплой, небо не закроет, напишут снова. Пусть себе пишут, им читать.

Чья-то собака мимо пробежала, возле ограды нашей покрутилась. Нос свой совала в подворотню – не без этого; лаз, на беду ей, тесным оказался, только поэтому в ограду не проникла, то забралась бы и *порыскала, будто ей кто чё приготовил здесь, – такие*. Кобель – верю-то пометил, – на солнце метина ещё парит.

Далеко где-то, в ельнике, не она ли, не эта ли самая собака лает – по всей округе зычно раздаётся. На бурундука, может, или на белку озарилась, слетели рябчики ли, их гоняет, ельник пока ещё не вымер. Но скоро вырубят его – грозили. Мыши останутся одни – простор тем будет.

Пошёл. В кроссовках – скользко – не упасть бы. Только под гору спустился, вижу, появляется из-за поворота, со стороны не существующей уже улицы Нагорной, Колесников Александр Петрович. В лёгких кожаных, самодельной работы, броднях, с загнутыми вверх, как у сандалий Маленького Мука, носками, чёрных от густо и недавно, судя по всему, намазанного на них, чтобы не промокли от росы, дёгтя. В толстом выцветшем дождевике гражданского пошива, но с жёлтыми солдатскими пуговицами. С худеньким брезентовым и тоже вылинявшим до белёсости вещмешком и ружьём двадцатого калибра, одностволкой, за плечами. На голове войлочная, им самим, наверное, Александром Петровичем, сшитая шапка, похожая на древнерусский шлем-шишак. Громко не топает – в броднях-то, – ступает мягко; но как он шаркает ритмично ими по дороге, слышно.

Задержавшись, подождет я, когда он подойдёт ближе, говорю громко:

– Здравствуй, дядя Саня.

– Он оно чё! Едва узнал... На расстоянье уж и вовсе... Вижу, что человек вроде стоит, а кто такой, не различу. Не столб же выпер тут сквозь землю... Вплоть подступил тока – тогда... Глаза худыми, парень, сделались. Всё чё-то в их будто мешат, не проморгаться... кака помеха... Здорово, Иван Васильевич, – отвечает дядя Саня, останавливаясь. – В отпуск, ли чё ли, – спрашивает, – мать приехал навестить?

– В отпуск.

– И правильно, – говорит дядя Саня. – Ты ж нонче был уже... в июле, так? Или чё путаю?

– Не путаешь. В июле. Взял, – говорю, – опять, без содержания.

– А, это ладно... И надолго?

– Недели на три, на четыре.

– Ну, дак прилично – сколько дён... Картошку выкопашь, поможешь?

– Если погода постоит.

– Ну, постоит, не постоит, дело такое... Не подчиняцца нам она, эта погода. Мы не указ ей, своевольной, – говорит дядя Саня, глядя на меня, а кивая на небо. – Как канцелярия воздушная распорядится... А картошку в земле, один хрен, не оставишь, и из-под снега будешь выгребать... Бывало... В зиму-то как без ей, никак. А я уж выкопал свою, – говорит дядя Саня.

– А что так рано? – спрашиваю.

– Да не рано, – говорит дядя Саня. И говорит: – А чё тянуть-то?.. Много гнилой, Иван Васильевич, вот где беда. Сырость така вон. Не бывало. Август-то весь – хошь плавай в огороде, хошь карасей в ём было разводи... У вас-то, ладно, чёрнозём. А у меня сплошная глина... Сто уж возов навозу туда вывалил... Куда девац-ца?.. В пропасть будто. Жук ли какой съедат яво... навозник? Питац-ца им, навозом, чё ли?

– Да и у нас – на суп копала мама, говорит, что – попадает...

– На чернозёме, может, и хуже... Какое лето... И лук-то портиц-ца, вот горе. Без лука тоже... тоже оваш. Зимой-то как без овашей. Одну картошку есть не будешь... Теперь хошь, может, постоит. То ж заливало. С сеном не все ишшо управились – не дало. Вы-то поставили? – спрашивает.

– Поставили, – отвечаю.

– Дак ладно, – говорит дядя Саня.

– Повезло нам, – говорю.

- Да, угадали... Чё, собралась ишшо держать? – Уговорим, чтоб отказалась.
- Уговорите.
- Попытаемся.
- Ну, попытайтесь.
- Куда, – спрашиваю, – направился?
- Кака уж ей теперь корова, – говорит дядя Саня, – уж за собой бы как ходить... А на Пешшанку, – отвечает.
- Порыбачить? – интересуюсь.
- Сетушку ставил, ту проверить. Лист-то несёт, дак забиват... Харюз не катиц-ца с шивёр, в плеса пока что не спускац-ца, вот и без удочки – не взял... Рябчишку, Бог даст, подстрелю. Выводков много нонче видел... были.
- А что, – удивляюсь, – охота открылась?
- Не дотерпел, – говорит дядя Саня. – Недели меньше остаётся... Птица давно уж на крыле. И так ружьё-то – от медведя. Пальнёшь, дак, думаешь, отбежит, не тронет.
- Лучше уж пусть не попадается.
- Дак это так... С ём, косолапым, век бы не встречался. Холера ж, бродит, где ни вздумат. В деремне был тут, чё ему.
- Хозяин, – говорю.
- Хэ, – говорит дядя Саня.
- Не на меня – вдаль дядя Саня взглядом устремился – как раз в ту сторону, куда идти собрался, – дорога в ельнике там – на Песчанку.
- Медведя, – говорит вдруг, – ноги кормят.
- Волка, – говорю.
- И у яво идь, у хозяина, Иван Васильевич, ручонок нету, одне ноги...
- Ну, – говорю. – Ни пуха, ни пера.
- К чёрту... Не к лесу будь он упомянут. Ну, до свидання.
- До свиданья. – То заходи.
- Зайду.
- Поговорим... Не сёдня тока... Может, запозднююсь. С городу чагу заказали, буду искать ишшо... пролажу.
- Пошёл дальше дядя Саня. Старый. Но не сутулый. Лет восемьдесят ему, не меньше. Пил, говорят, в молодости. *Шибко*. Давно отказался – *здоровье бережёт*. Лицо свежее у него – как у юноши. От заморозка покраснелось. И чисто выбрито – сияет. Один живёт, вдовый. Не дождалась, рассказывают, его когда-то с армии любимая девушка – другой ей, дескать, подвернулся, вертихвостке, и умыкнул её куда-то. Женился он, Александр Петрович, с отчаяния на *нежеланной*. Лет пять назад и ту похоронил. Вместе прожили они долго, но детей так и не заимели. По чьей вине, *никто не знат*. Никто не знает, но все шёпотом догадываются: «Она, Клава, Санина-то жана, Царство ей Небёсное, в девках ладно погуляла, да не один аборт, наверно, сделала, вот и случилось». Дело прошлое.
- И я направился своей дорогой.
- Вспомнил.
- Как-то сидели мы с ним, с дядей Саней, на берегу Кеми, рыбачили с ночёвкой на налимов. Беседовали о разном. Спросил я его, сам ли он об этом начал, не помню. Про смерть.
- А ты разве смерти, – спросил я его, – не боишься, дядя Саня?
- Нет, – спокойно мне ответил он. – А спастись и жить вечно хочешь? – Нет. Пожил, достаточно мне.
- И что тебя потом не будет, тебя совсем не беспокоит?
- Нет, хорошо, что и не будет.

Разговор этот происходил лет десять назад, а то и больше, но до сих пор меня смущает: соблазн мне.

Чибис летает, ругает меня. Хотел испачкать, но промазал, в лист подорожника попал. Атаковал, резко спикировав, и был таков, в ольшаник скрылся. Нет у меня к нему претензий.

Улетит скоро – покинет нас, – в края-то тёплые подастся. Ну, долететь тебе благополучно.

Плетутся мне навстречу дети. Двое. Мальчишка и девчонка. Чуть не толкаются, бок о бок. Ссорятся, похоже. Разглядел, я знаю их – Чеботарёвы. Имена их даже помню – Вова и Галя. Погодки. Семи и восьми лет – так примерно. Вова старше, ростом выше. В школе уже учатся, наверное. Школы здесь нет, даже четырёхлетки, нет и в Ялани, к нам самой близкой тут, по тракту, возят детей на школьном автобусе, собирая их со всех окрестных деревень, в Полоусно; утром туда, а вечером обратно, – там пока чудом школа сохраняется. Но и ту скоро прихлопнут – к тому дело движется. Дожили. Когда мы учились, восемь классов заканчивали здесь, в Сретенске, а девятый и десятый – в Ялани, там и жили в интернате. Домой ездили только на выходные и каникулы. Весёлое время было. Теперь и детям-то тут скучно – мало их, и нечем им заняться. Пиво да телевизор, вся и радость. Идёт, бедный, малолеток, малолетка ли, в руках соска – баллон пластиковый в два с половиной литра; глаза чумные. Смотришь на них, и сердце щемит. Им привычно. Даже и не подозревают, если им кто-то не рассказывал, что всё иначе раньше было здесь. Не голоса: «В Москву, в Москву!» Предел мечтаний – Елисейск. Исленьск – заоблачное счастье.

Оба – и брат, и сестра, – несмотря на утреннюю прохладу, простоволосые. Как и почти все здесь дети – белобрысые. В зелёных, великоватых им, резиновых сапогах. В одинаковых болоньевых куртках, пунцового цвета. У Вовы в руке грязный и мятый *политиленовый*, тяжёлый с виду, пакет, на котором изображена *примадонна*, Алла Борисовна Пугачёва, изрядно облупившаяся, но пока ещё узнаваемая – по причёске, и по строчке: «Женщина, которая поёт...» – одна такая.

Сестра, придерживаясь не за руку брата и не за полу или рукав его куртки, а за пакет, вцепившись крепко в него пальцами, негромко хнычет; текут слёзы по её красным, как спелые ранетки, щекам обильно – не вытирает.

Вова не плачет; он по-взрослому серьёзен – брови белёсые нахмурил, или, по-нашему, насупился.

Издали ещё здороваются:

– Здравсте, дядя Ваня.

– Здравсте, – отвечаю. – Куда путь держите? – интересуюсь.

– Кошка сдохла, – говорит Вова. – Закапывать. – И не сдохла, а уснула, – поправляет его

Галя. – Да какая тебе разница, – говорит ей брат. – Окочурилась, дак чё уж!

Пуще Галя плакать принимается, цепляясь крепче за пакет.

– Вредный, нарочно дразнит... Во-о-овачка, – говорит, всхлипывая и заикаясь.

– И не нарочно. И не вредный.

– Ещё какой!

– Ага. А я-то чё могу поделать? Был бы я Божанька, дак оживил.

– Не оживил бы!

– Оживил!

– Не оживил, не оживил бы!

– И чё с ней, с чиканутой, будешь делать! – махнув свободной рукой, говорит Вова. –

Перед людьми бы не позорила.

– Я не позорю! Это ты... И ты сломал мою заколку!

– Я не нарочно!

– Нет, нарочно.

– Я только взял – она сломалась.

- Нет, ты вертел её в руках.
- Не сочиняла бы уж, вруша.
- Сам вруша.
- Ты!
- Нет, ты, противный!
- Хоронить где собираетесь? – спрашиваю.
- Мамка отправила нас в ельник... вон, на угоре, – отвечает Вова.
- А чем закапывать-то будете?
- А есть лопатка... тут, в пакете же.
- Ну, далеко не заходите, то заблудитесь.
- Мы на виду, а в ельник не пойдём.
- Уж не ходите... Не плачь, – говорю Гале. – Возьмёте нового котёнка.
- Да есть у нас. Её сынишка.
- Ну вот.

– Да мне её, Пятнуху, жалко! Ну как вы все не можете понять?! Это же просто!.. Она в постель ко мне не заберётся больше ночью, не прогреется, не помурлычет! – тут же обеими руками, одну вынув из кармана, другой отцепившись от пакета, Галя лицо закрыла и заплакала, теперь навзрыд уж.

Как утешить?

Разминулись. Дети – на гору, к ельнику. А я – к Кеми.

Их, Вовина и Галина, мать, Вера – дочь моей одноклассницы, Наташи Почекутовой, рано умершей – от *белокровия*. Выросла Вера с бабушкой, Аграфеной Степановной. В прошлом году её похоронили. Муж у Веры был – *куда-то подевался*. Случается иной раз с мужиками – как ветром лист, куда-то унесёт – после найди его, попробуй – *запропаستится*. Работала Вера, соломенная вдова, нянечкой в яслях. Работы не стало, жить сразу оказалось не на что, и запила – *деньги на выпивку всегда найдутся*. Пила, пила, потом *остановилась, поумнела*. Детей своих любит, но не балует. К труду их приучает. Всё лето разную ягоду, то землянику, то малину, то чернику, какая к сроку поспевает, собирали и возили на базар. И она, Вера, когда могла, с ними в лес ходила. Получает что-то, *по безработице да на детей*, на хлеб хватает. А одеваются уж за счёт промысла. Корову Вера держит. Сена на неё наставляет в одиночку, чуть не до снега на покос и бегают – *палкат*. Только метать кого-нибудь нанимает. Да после вывезти, конечно. Не унывает и не жалуется. «Живу, – говорит, – ради них, детей, сама уж ладно. Поставить на ноги, а там уж...» Самой ещё тридцати нет. *Больно тиха, но работяш-ша*, говорят про неё в деревне. Не обманывают. Огород у неё – *заглядишься – ранжарея*. И в доме у неё, дескать, *поря-я-адок, чистота*. И Вовка с Галькой, мол, всегда ухожены, помыты и опрятны. Наташа, мать Веры, была тоже *тихой*, скромной, но самой красивой девчонкой в нашем классе. Волосы у неё были редкого цвета – ярко-каштановые с золотым отливом. И про неё, про Веру, говорят: «Приглядна баба, как с картинки». Правда и это, не поспоришь.

На тракт вышел, пересёк его. По шатким мосткам заболоченную низину, заросшую осокой и мелким тальником, миновав, вступил на берег.

Яр. Высокий. Метров двадцать. Река, сточив его когда-то, уже давно не подмывает, лишь в половодье чуть облизывает. Но травой и кустарником он не оброс пока – песчаный. Стоит на нём, близко к кромке, выказав охвостья корней, несколько старых, толстых сосен, с детства обследованных до вершины. Реликтовые. Комли у них обтёртые – понятно.

Синяя, крашеная, деревянная скамейка. Густо осыпана сосновыми иголками. И чего только на ней не вырезано ножичками. Кто только к кому не приплюсован и не приравнен в сумме к «любви». Меня там нет – скамейку обновляли.

Рядом огромное кострище. Земля тут вытоптана – за века. Шишки сосновые кругом – отсеменившие, взъерошенные.

Внизу, не сразу, в отдалении, вымыв уступок, новый себе бережок, бежит стремительная Кемь. Вода цветёт в ней – изумрудная. Бойко шумит на перекате, взбивает пену. Плывёт дальше та, лёгкая, похожая на белые, будто испачканные охрой или тёртым кирпичом, куски пенопласта, за поворотом исчезает. Донный проглядывает галечник. Солнце слепит с воды, на плёсе, выше.

За речкой – Камень. Нависает. Рыжеет ржавыми осыпями, редко поросшими ольхой да с выглядывающими кое-где серо-махорчатыми валунами. Всё лето простоял Камень то сизым – из-за марева, а то зелёным, где темнее, где светлее. В дожди – туманным, когда *курится*. Теперь, как повзрослевшая птица, распятался. Красный по распадкам – от осинника и зарослей рябины; жёлтый – от березняков; фиолетово-сиреневый от краснотала и коричнево-бордовый – от папоротника и боярышника. По гребню – редкие гигантские лиственницы, хвоя на которых ещё не пожухла. Ну, и ели, пихты, кедров да сосны на нём – те и зимой и летом, как известно, одним цветом.

Над Камнем небо – где б хоть облачко.

Ниже по течению реки коса камешниковая, формой напоминающая полумесяц – как от меня смотреть, так вроде *старый*, – изящно выгнутый к реке. Лежат на косе там и там белёсый плавник, сучья разные и целые коры, вздыбившие корни, – в паводок принесённые ещё, подмытые лесины. Ни рыбаков на ней и ни купальщиков – пора такая – не сезон.

Пустынно. Как на душе моей теперь – похоже. Чувствую: не могу здесь больше находиться.

Грудь мне теснит, дыхание спирает. Прочь меня гонит что-то, и настойчиво, бесцеремонно. Но не извне, внутри меня сидит погонщик. Иной раз так же гонит вон из церкви, вроде без явных и понятных мне причин, но догадаться о которых можно.

Я развернулся и пошёл – дверь предо мною не закрыта.

Напрямую, не по торной тропинке, что ведёт вдоль берега и сворачивает затем к старице, а густой пихтовой мелкой мягкой порослью, не опасаясь ободрать лицо, до озера Глубокого протиснулся – пути с полкилометра.

Оно, озеро это, и на самом деле глубокое. Разведывал я однажды, ещё мальчишкой любопытным, глубину его на середине – шестом пятиметровым. Дна не достал. Ближе лишь к берегу нащупал – скала там – шест чуть не сломался, когда им тыкал. После уже, но тем же летом, длинной верёвкой, с привязанным к ней тяжёлым тракторным подшипником, выплыв опять на середину озера на деревянной лодке, испытал. Потом измерил: метров восемь. Сильно меня тогда разочаровало это – мелко. Другим приврал: мол, двадцать с лишним. Они поверили, не проверяя.

И тут, на озере, сегодня ни души. Только утки, кряквы, слышав и завидев меня, не сорвались, шумно шлёпая крыльями, с водной глади, а неспешно, на крейсерской скорости, уплыли в заросли осоки. Знают, что охота на них ещё не разрешена, и не боятся. Это потом к ним подкрадись-ка – не подпустят.

Тихо.

Пришпилены, как вурдалаки колыями, шестами возле берега плоты – в безделье прозябают. Лежат на некоторых кривые, черёмуховые, и прямые – сосновые – удилища. С леской на них; на леске поплавки из винных пробок, крючки и грузила – бери и пользуйся. Только рыбачить сейчас в озере не на кого. Живут тут караси лишь да голяны. Караси в ил уже зарылись, а на голянов и рыбачить никому не интересно, кроме зимородков – те ещё, как красно-синие снаряды, над водой мелькают под кустами; в Африку улетать, похоже, не торопятся.

Побродил по склону, бывшему берегу кемскому, поел оставшуюся после ягодников теперь уже переспевшую, пусть и пресную, но сочную чернику, твёрдую костянику да незревшую ещё, хоть и прихваченную заморозками, бруснику – дёсны занули.

Посидел на мшистой валёжине – лес послушал, запахи повдыхал.

Осыпал меня древесной трухой с вершины давно уже омертвевшей на корню сосны долбящий её дятел. Долбил, долбил, затих – куда-то смылся, – знает окрест все сухостоины – к другой подался, более вкусными личинками, наверное, богатой.

Долго и тут не смог я находиться. Как сквозняком срывает лист бумажный со стола, меня сорвало так с валёжины.

Пошёл обратно.

Солнце поднялось. Лучистое. Дело к полудню.

Теплеет. Иней остался только там, где тени, – тут вот, за ельником, и где-то за домами, – долго и там не проживёт – рясной росой на солнце посверкает, как алмазами, и испарится. Бабочка так из куколки рождается и помирает.

Пока ни облака – лазурь сплошная.

Иду, куртку расстегнув, думаю:

Вот вернётся дядя Саня Колесников с Песчанки, войдёт в свой пустой дом – и тоскливо ему делается. Представил я – и даже передёрнулся. А меня, радуюсь, ждёт дома мама. Суп уже варит. Это так здорово, когда тебя ждёт дома кто-то – не враг, конечно, не судебный пристав. Одно печалит – будет так не вечно.

От маловерия печаль. Но что поделать.

Вошёл в гору, затем – в ограду, а после – в дом, разувшись на крыльце. Успел заметить:

Кто-то в гостях у нас – чужие на крыльце калоши. Катя Глинских.

Волосы у Кати светло-русые, *волнистые*. Сейчас в платке, так не видать их. Глаза серо-голубые, *умные*. Лицо плоское – остяцкое. Бобылиха. Замужем не была. И *выходить не соби-ралась* – так почему-то этим хвалится. Она, Катя, приёмная дочь Ларьки-Собачника и Маши, по прозвищу Чугунка, Деменковых, давно уже покойных. *Рядом на кладбище лежат*. Привезли они её, Катю, в двухлетнем возрасте из Ялани, где умерли чуть ли не в один день её родители, чем-то отравившись, вроде грибами прошлогодними, Маша Чугунки родная сестра Гликерия и муж Гликерии, по имени того не помню. Маша Чугунка была женщиной крупной, полной, и ноги у неё были, помню, разные – одна тонкая, другая толстая, так и ходила, *вразнотакт*. А Ларька-Собачник – иначе его, отдельно по имени или по прозвищу, и не называли – был маленького роста, худощавый, неразговорчивый. Ходил он, помню, всегда в одном и том же – в кожаных, засаленных штанах и в вылинявшей до белёсости брезентовой куртке, с плоскими металлическими пуговицами на ней, зимой – надевал сверху ещё и, засаленную тоже, телогрейку, а кепку-восьмиклинку менял на заячью шапку-ушанку. Ножик на поясе носил, в кожаных ножнах, с медной, отшлифованной до блеску, рукоятью. Собачником его прозвали потому, что давил он по просьбе односельчан ставших ненужными им или *приблудных*, брошенных, чаще всего, проезжающими после закончившегося сезона Сретенск охотниками, *пустых* собак, потом их обдирал, шкуры куда девал, не знаю, сдавал, пожалуй. Идёт, помню, Ларька по деревне, хоть выпивший, хоть трезвый, следом за ним разномастная свора псов чуть ли ни кубарем катится, все лают звонким хором зло на Ларьку. Тот бредёт, на них внимания не обращает. Класа на три младше меня училась Катя. В школе её я и не помню. Агроном, по образованию, сельскохозяйственный институт в Исленьске заканчивала. Работать ей тут, ни в Сретенске, ни в округе, негде, колхозов и совхозов больше нет, землю не пахут и не засевают – крестьяне превратились в *пенсионеров* и *бюджетников* – эти не сеют и не пахут. Овец Катя держит, *табун целый*, чем и живёт. Пенсию стала получать – теперь ей легче. Район наш, по климатическим условиям, приравнен к Крайнему Северу, и потому на пенсию выхо-дят раньше здесь.

Сразу же, как только я вошёл, поднялась Катя с табуретки, на которой *гостила*, и, поздоровавшись со мной, к двери направилась.

Мама вдогонку ей, со стула:

– Во, сорвалась... Ты чё пошла-то?... Обедать будем, – говорит.

– Да у самой готовится там, – Катя говорит. – Спасибо. На печке – выкипит... Пошла из дому, думала, что ненадолго, и заболталась. До свиданья.

– Ну, ты уж, девка, забегай, – говорит мама. – Не забывай нас. Когда звонить... как время будет ли, так просто. Чё молодой-то, раз, и прискочила. Ну, до свиданья.

– Куда я денусь, забегу, – уже в дверях, не оборачиваясь, отвечает Катерина.

Закрыла дверь. Из сенцев, слышу, уже вышла.

– Ну, слава Богу, удалилась... Глухая – громко говорю – ещё услышит... И пусть услышит... Как уж заявится, сидит уж да сидит, – вставая со стула и подавшись на кухню, ворчит мама. – Как будто дел нет дома никаких. А у меня уж голова, как колокол, гудит, ещё немного, и расколется... Честное слово, думала, не выдюжу.

– Так ты бы так ей и сказала. – А?

– Сказала б ей!

– Ну как же скажешь.

– Тогда терпи.

– Не всё и всем же говорить... Будто сама не понимает, не маленька... А я что делаю?.. Терплю. Так язычишком уж мелю, раз без костей-то... Иной раз сидишь, – говорит мама, – от окна к окну снуёшь челноком по избе и думаешь, пришёл бы кто, дак никого. А тут, суп варится – следить мне надо, с ней разговаривай о чём-то.

– Ну, не сидела бы.

– А как?

– А что была?

– Какая где кобыла?

Сняв и на гвоздь возле двери повесив куртку, говорю громче:

– Что Катерина-то была, зачем?!

– А, – улыбается. – А я... кобыла... Глухой-то худо быть, тебе смешно... Зачем, зачем... А вот затем. В соседнем с её огороде, в том, где картошку сажают дачники из города, бывшем-то суховском, за бывшими колхозными конюшнями, коровы изгородь сломали, так сообщить им, дачникам, чтобы приехали да починили, а то копать им будет нечего – сожрут и стопчут... И приходила позвонить.

– Ясно, – говорю.

– Чё? – спрашивает.

– Ясно! Ясно!

– Разобрала когда... Ну, ясно – лошадь, раз рога, – повторяет, улыбаясь, мама отцовскую присказку. – А там и изгородь – одно название, давно изгнила, – говорит. – Лет уже сто, поди, не подновлялась, еслив не больше. Как мне же лет, и изгороди этой... Ну, позвонила, и пошла, а то сидит уж да сидит, словно наседка. Слушай её... Не переслушай. Чё-то бубнит – не понимаю, качаю только головой... беседа наша. Господи, помилуй. Тебя смутилась – сорвалась так.

– А я ей что?

– Да я откуда знаю.

Есть у нас телефон. Стационарный. Василий, при советской ещё власти, еле-еле его *выбил*, только как для вдовы боевого кавалера ордена Славы двух степеней, чтобы мама ему, Василию, звонила в город – *мало ли*. Не научилась до сих пор. Если, вдруг находясь поблизости, звонок услышит, трубку снимет. «Алё, алё», – но, *акромя шипа*, не расслышав ничего, повесит трубку. Ладно, на аппарат, то иногда и рядом с ним положит. Потом всё «занято» – не дозвониться. Есть в Сретенске телефоны и ещё у некоторых односельчан, такие же стационарные, но, чтобы позвонить в город, в другую ли какую деревню, ходят всё больше с этой целью к нам. И мама рада – всё проведает. Ворчит-то так уж – для меня: мол, не подумай, вынужденно я бездельничала. И Катерину она любит и жалеет: баба хорошая, но смолodu, мол, одинокая – ей уж судьба такая, дескать, пала; крест такой дан, дак и несёт. Скажет так мама

про неё, добавит после: «А и где же его теперь, путнего-то мужика, отыщешь... Все как с сапи сорвались будто – пьют. А за худого-то, за пьяницу, и выходить – с ним только маяться... Не стоит. Лучше уж одной». Вздохнёт участливо – от собственного будто горя.

Иные старики, а молодые – почти все, имеют и мобильные, *сотики*. Но, чтобы позвонить с них, идти надо за четыре километра от Сретенска в сторону Ялани – на Сухову гору. Не каждый сможет и захочет.

– Баню-то будешь топить, нет ли? – спрашивает мама, неся на стол в одной трясущейся руке хлебницу с буханкой *оржаного* хлеба, в другой, более спокойной, – нож и две большие ложки.

– Буду, – отвечаю.

– Надо бы, – говорит мама. – А то я коркой вся покрылась... Недели три, наверное, уже не мылась. Ваське всё некогда – приедет да уедет, хозяйка ждёт там, делать чё-то требует всё... А то – истопит – я не в силах... Но это после уж, как пообедам. Суп вон сварился. Ботвы нарезала свекольной... картошка, шшавель, лук... да чё там?.. Бросала чёто, и забыла... И не затягивай, я поздно не смогу. Помыться раньше надо... до коровы. То та заявится, мне будет не до бани. Реветь-то станет – надоест тут.

– Поем, пойду и затоплю.

– Давай, родимый. Хорошо бы... Чеснок-то надо?

– Я возьму.

– А перец?

– Тут он, на столе. Садись, не бегай.

– В день хоть зубок. Чеснок полезный... Какое, бегать... Волочусь... Ну, соли мало, дак подсолишь. Солонка тут же где-то... на столе вон. Уж без сметаны.

– Так пойдёт.

Пообедали. Супом. Попили чаю. С утренними блинами.

– Их с маслом бы...

– И так нормально.

– Безо всего-то... На воде.

– И ладно. Вкусные. Спасибо.

– Да чё-то мало и поел.

– Куда уж больше.

– На здоровье.

Мама стала со стола убирать. А я подался затоплять баню.

В огороде она у нас. От других хозяйственных построек и дома подальше – в противопожарных целях.

Давно в ней, в бане, не топлено – сыро. Старым берёзовым веником пахнет и прелым деревом. Привычно.

По стеклу небольшого, чуть уже перекосившегося оконца, залитого сейчас солнечным светом, три одинаковых бабочки мечутся, крыльями по стеклу устало хлопая. Большие, чёрно-коричневые, с яркими и выразительными *глазами*. Осторожно ухватив за пыльные крылья, поймал их по очереди и выпустил на волю. Высоко, натосковавшись, в небо взмыли – порхают. Склюёт их кто-нибудь – какая-нибудь птица, немало тех вокруг болтается. Не стал за этим наблюдать – как соучаствовать.

Рубил эту баню когда-то я. Лет двадцать назад. Бабым летом. Из толстого, но не трухлявого внутри осинника. Без чьей-то помощи – а тут уж – из упрямства. Отец сказал бы так: от глупости – и не стеснялся, говорил. Мама могла сказать: мол, из гордыни, – не говорила. Сруб поставил, двери навесил, сначала пол, потом потолок настелил, сухой землёй его засыпал, начал крышу мастерить – творец, самодоволен. Отец в огороде, недалеко от меня, с вилами ходит, картофельную ботву в кучи собирает – ведро пока, безветренно, так сжечь собрался.

Говорит мне снизу вверх, не глядя на меня, спокойно: «Без крыши, парень, баня твоя будет». «Чего это ради?» – спрашиваю. «Увидишь», – только и ответил. Ну, как словом, так и делом: только подует крепкий ветер, южный или западный, так на моём строении будто и крыши не бывало, одни стропила остаются. Пришлось мне после, следующей уже осенью, учитывая розу ветров, её, крышу, переделывать – уж повозился. Нет ведь, чтобы отца послушать, расспросить, – с усами сами. Теперь усы-то чуть пообтрепались, оно и лучше.

Двумя ведрами на коромысле воды из ручья, что еле-еле, но ещё течёт к Кеми, деля наш огород на две половины, *картофельный* и *сенокосный*, в котёл, *на горячую*, натаскал. Отдельно в алюминиевую флягу – *на холодную*. Затапил баню. Печка-чугунка загудела.

Эх ты, как здорово-то, думаю.

Там бы, в Исленьске, мне такую баньку.

В дом вернулся.

Моет мама посуду. Говорит, меня увидев:

– Никогда раньше посуду не била... Теперь мне по руке кто будто стукнет – выроню...

Сколько вон банок уж поколотила.

– Я бы помыл.

– Да не смейся. Это была бы я совсем уж никакая... Помыть посуду-то могу. Сесть уж и ничего не делать-то – несчастье.

Включил телевизор, выключил. Принёс из кладовки спиннинг. Катущку, «Невскую», проверил – вроде в рабочем состоянии, сломать её тут было некому – Василий не рыбак. Отыскал в *рыболовном* ящике блесну, *черноспинку*, которую дал мне, подарил ли, несколько лет назад Истомин Олег, бывший мой одноклассник, из Ялани, проживающий теперь в Ленинграде. Плыл как-то по Кеми на лодке я, а он рыбачил с берега – мы с ним и встретились.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.